К ТЕЩЕ

Нас в палате тогда было трое: я, парнишка лет двадцати пяти и скрюченный, как он сам говорил, суматошной жизнью, наполовину седой носатый мужик. Его привезли на скорой два дня назад. Сутки, пока обследовали, он молчал, на вторые утром вдруг заговорил:

— Когда я первый раз женился, у меня были и теща, и тесть. Мы с женой после свадьбы у них неделю гостили. Дом небольшой, но солидный такой и весь выкрашен-выскоблен, не придерешься. Теща — хозяйка добрая. Сидим мы, значит, с тестем на крыльце, выпиваем, курим, разговариваем. Смотрим: теща бак железный, квадратный такой, от бани перебросом катит. На ребро поставит, бросит, он и катится, потом опять на ребро… Мы с тестем пока протележились, подбежали, она его уже на место определила, куда ей надо было. Ну, думаю, теще сносу еще лет пятьдесят не будет! А она через три года хлопнулась.

— Че? — встрепенулся парнишка.

— Похоронили ее, — подсказал я.

— Два инфаркта в один день. Тесть плакал, кричал, что не уберег. Все его, значит, астматика, жалела. А он еще лет пятнадцать прожил, сходился с кем-то, но не пожилось… — посмотрел вдруг на нас вприщур, — я курить.

И выполз из палаты чуть ли не на четвереньках.

— Интересно, че она ему далась, теща-то? Главно, не жена бывшая на ум лезет, а теща.

— Стоящая, выходит, была женщина. Знал-то он ее всего ничего, а гляди-ка, в душу запала…

— Все ж, в основном, радуются, если теща умирает. Я анекдотов про этих тещ море слыхал!

— То анекдоты, а то жисть. Ты, поди, не женат еще?

— Не.

— Мужик он вроде серьезный, и болезнь у него — будь здоров. Уж не умирать ли он сам собрался? — забеспокоился я.

После обеда паренька со словами: «Здоров пока, но не балуй больше», выписали. Мы с носатым остались вдвоем. Он молчал. Я попытался завлечь его хоть каким-нибудь разговором:

— А матери у тебя, что же, не было? Ты не сирота ли?

— Была, почему же… Она и щас жива. Я по молодости думал про нее, что веселая она, а как тещу узнал, сравнил их, понял, что распутная мать, а не веселая. После смерти отца она только с двенадцати моих лет до четырнадцати трех дядек поменяла.

— Бывает и такое, что не по сердцу… — я хотел спокойного разговора.

— Мастеровые все были дядьки, но выпить любили, молодцы. На это и попадались. Один веранду пристроил, она его через день выгнала, другой крышу перекрыл — под зад его. Третий баню хорошую такую соорудил…

— На работу она их, выходит, брала?

— А расчет, ясно, какой: выпивка да постель. Я эти два года так у бабушки и жил, думал: ну куда к матери, там стройка. Думал, это и есть правильно. Мать же. Да и веселая она, правда, была: песни пела, частушки там всякие, плясала. Конечно, не без стопочки. Самогон она хороший варила, я потом распробовал.

— На продажу гнала?

— Нет, не на продажу. На хозяйские нужды. Ну, и себе, к празднику. А праздновать она любила.

— А чего вам с женой-то не пожилось?

— Она в свою мать пошла. Дом, дети, порядок кругом, меня берегла. Мне это поначалу нравилось, а потом скучно с ней стало, праздника захотелось. Видно, я в свою мать пошел. Она меня даже поддержала с разводом: понимаю, мол, надоела она тебе, и так — семнадцать лет на нее угробил. Жизнь у тебя одна, говорит… А к детям по праздникам приходить будешь.

— А теперь она как?

— Мать-то? Постится да молится.

— Сколько ей?

— Восьмой десяток.

— Молодец. Помогает, видно.

— Кто? Одна она щас.

— Я про молитву.

— Да… а теща только сорок пять отметила… Сама статная такая, высокая, крупная.

— Далась она тебе! Сколько у тебя тещ-то было, если жена не одна?

— Много. Столько никому не надо.

Принесли капельницы, разговор сам собой и закончился. У медсестры только спросил он:

— Щас ведь февраль? А число какое?

— Февраль. Второе с утра, — улыбнулась сестричка.

— Выходит, вчера девять дней было, как жена умерла.

— Все под Богом ходим, милок! — Она погладила его по голове и почему-то на цыпочках вышла. А мне в сердце вдруг хлынула такая тоска, что я не удержался и со злой подковыркой спросил его:

— Это какая же умерла? Первая или последняя?

— Она и первая, она и последняя. Остальные так — баловство.

— И дети от баловства имеются? — не унималось во мне зло.

— Имеются.

— А от первой сколько?

— Трое.

— Дак ты что ж тогда, сучонок? Это тебе от такой оравы праздника захотелось?! — едва не задохнулся я.

— Молчи, старик, молчи, — застонал он.

Тоска разом проглотила злость, и я, обессиленный, отвернулся к стенке.

Уже ночью, перед рассветом, он разбудил меня тревожным шепотом:

— Тяжелая она характером, теща-то… больно правильная… Боюсь я из-за нее помирать. Вдруг не простит, не подпустит второй раз к своей дочери. Что я тогда там один делать буду? Это хуже самой смерти…

Он приподнялся на локтях и пристально посмотрел в окно. Фонарь от столба желтым лучом косо резанул его по лицу, высветил крючковатый нос и крупные капли пота, стекавшие со лба по изломанным морщинам к искореженному подбородку. Кнопка вызова медперсонала выскользнула у меня из трясущихся пальцев, как намазанная маслом, и я стал бить кулаком по тумбочке.

Через несколько минут шум затих. Грузовой лифт понес бедолагу вверх, в реанимацию.

СОН В РУКУ

Вчера мне приснился сон, будто муж меня с детьми (у нас дочка и сын) бросил, значит, и ушел к поломойке. Ну, так прям реально к поломойке: она мыла машины у нас в автосервисе.

И вот я с этим грузом (разводом и унижением) оказываюсь будто бы на Тибете, высоко-высоко: дышать трудно, ни воздуха, ни зрения, ни слуха. Вокруг голубая дымка, солнечное марево, звон в ушах, бубен в голове.

И вдруг — боковым зрением — замечаю суету у обрыва. Чем зацепило? Одежды на женщине родные, славянские: юбка коричневая, кофта с широкими рукавами голубая, жилетка синяя. Чулки трикотажные хлопковые приспущены, тапочки

на прорезиненной подошве просто впились в ступни, изуродованные огромными наростами у большого пальца.

И вроде как свет слепит глаза, и в то же время могу видеть насквозь: волосы у старушки под белым в мелкий цветочек платком заплетены веревочкой, как на фотографии у прабабушки с Алтая.

— Ты ли это, бабушка?! — вопрошаю восторженно.

Она рукой машет: то ли зовет, то ли упасть с обрыва боится. Я что есть силы замахиваюсь, прорубаю прозрачный пенопласт разреженного воздуха пятерней и вместе с солнечным столбиком захватываю пояс юбки с накрахмаленным передником.

Радостью заиграли суковатые морщины на лице старушки, и она ответила мне сразу, не дожидаясь главного вопроса:

— А как же, все это положено так быть!

— Кем положено, баб?

— Кому молишься, тот и положил крест. Ну, да ты особо не тушуйся, кутерьма наша оттого, что не почитаем толком любовь своей родиной, вот и делаем сами себя несчастными. Оттого и хотим, и ищем другого счастья.

— С поломойками? — выпускаю я на вдохе передник.

— Все: и поломойки, и твой вышколенный на долгое супружество милок, и ты сама. Счастьем без любви душа не насытится, да и счастье ли оно? Тут хотя бы участьем порадовать себя. Ты вот чем виновата, смекаешь?

— Не они, значит, одни, а и я тоже?!

— Молодец! О себе говоришь, собой и спасешься. Подскажу чуток: ты его утром не похвалила, он до тебя не дотронулся, ну, и пошла свистопляска помоечная: она-то — вон она! — с ямочкой на щеке, с восторгом, с пришепотом, расторопная вся, о помощи просит. Как ее без участия оставить?

— Так Николенька ногу расшиб, мы с Машей… — я почему-то оправдываюсь перед горами и дальним взморьем.

— Она без детей, конечно, сильнее, — принимает оправдание бабушка. Потом как взмахнет широким рукавом. — Вот и выхватила у тебя соломинку!

Я даже вскрикнула: «Боже!» — а она отвернулась к солнечному диску да так и застыла в его сиянии. Смотрю — цветы на ее

платке к затылку прибились, малиновым букетом заискрились, и вроде как воздуху у меня в груди прибавилось:

— Что же, и это простить?

— Да-а, если бы простить! — восхищается моим словам прабабушка.

Пустотные горы засеялись светом и проросли вдруг диковинными садами, и вся картина стала такой, как в детской Библии о райском Эдеме. И удивительно мне: здесь, рядом — покой, милосердие и любовь. И здесь же мы с бабушкой тему эту паскудную перетираем.

— Вот, любуйся, на какую тогда высоту подымет тебя Господь, если простить! — не дает мне прийти в себя ее встревоженный голос.

Но тут звон какой-то бьет меня в переносицу: «Хватит юродствовать, просыпайся!» — и я, злая такая, выкрикиваю свету белому:

— Да что я здесь, одна, на этой высоте, делать буду?

— Других поджидать, вдруг и они сподобятся, — удаляясь уже, как эхо от водопада, слышен бабушкин голос.

— Айда ко мне, поломойки, предатели, пустозвоны! — не унимаюсь я, пучеглазая, оглохшая от собственного крика.

— А вот он и твой грех, вылез-таки наружу! Запомни, внученька, гордецы — это духовные скитальцы. Дорога их к счастью долгая. А ты развяжи тесемки, выпусти суету из сердца, — делает опять шаг к обрыву бабушка.

— Там пропасть, стой! — машу я ей вырванной из скалы сухой веткой.

— Там, внизу, не пропасть, а долина потерянных. Набегаешься, захочешь прийти в себя, приходи отсидеться, я тебе свежей соломки постелю, — осеняя меня крестом, идет и идет по воздуху. Он у нее под ногами уплотняется в облачко, послушное, как тень, размером как раз под ее натруженные ноги.

— Это вроде как долговая яма: старые долги раздать, новых набрать, чтоб потуже с жизнью срастись, ближних не позабыть, тогда и небесное приблизится. Само-самошеньки, ты и не заметишь как.

Хлоп — и отзвенело в переносице: муж будильник выключил.

— Ты что-то кричала…

— Сон приснился.

— Тяжелый?

— Ты спас меня, — вру растерянно, — спасибо…

И пытаюсь вспомнить, в каком шкафу хранятся старые-старые семейные снимки с Алтая.

— Сегодня оборудование на мойке переустанавливаем, — целует он мою руку.

— В одиннадцать врач приедет. Николеньке ножку смотреть.

— Без меня никак?

— Без тебя никак, милый.